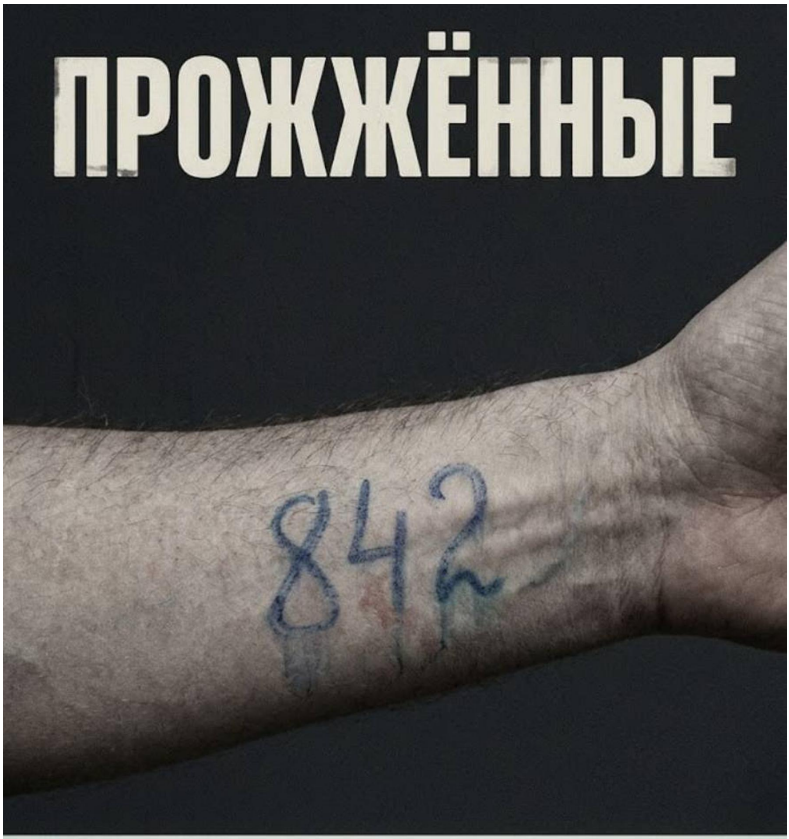
ПРОЖЖЁННЫЕ





Jack Stails & Voindin

к сведению

Jack Stails

Прожжённые

Серия «Жженые», книга 1

https://litres.ru/74778223
SelfPub; 2026

Аннотация

Город живёт в очередях и слухах. Над трубами завода стоит столб белого тумана — легенда уверяет: его вырабатывают охладители секретных реакторов. Слесарь Павел решает понять, что это за туман, и обнаруживает, что проверяемого нет: есть система, которой выгодно, чтобы спор заменял жизнь. Тридцать лет спустя составитель архива Наталья Ковальская собирает то, что осталось: тринадцать файлов людей, рукопись Павла и дневник Марка — человека, который умел проверять и заплатил за это работой. «Если б реактор — вы бы уже знали. Про реактор узнают быстрее, чем про зарплату».

Содержание

ПРОЖЖЁННЫЕ 4
Часть первая. Управляемый распад 5
Глава 1. Очередь 5
Рукопись Павла. Запись 1 5
Файл третий. Пашка с прежнего завода, 1983 6
Рукопись Павла. Запись 2 8
Рукопись Павла. Запись 3 10
Файл четвёртый. Женщина, моющая полы 11
Рукопись Павла. Запись 4 14
Рукопись Павла. Запись 5 15
Рукопись Павла. Запись 6 16
Рукопись Павла. Запись 6а 18
Конец ознакомительного фрагмента. 21

Jack Stails
Прожжённые

ПРОЖЖЁННЫЕ

Роман в рукописях и файлах

Первая книга серии: ПРОЖЖЁННЫЕ — ОБОЖЖЁННЫЕ — ВЫЧИЩЕННЫЕ

Это художественное произведение. Персонажи вымышлены. Документы, выписки и служебные бумаги являются литературными реконструкциями; статистические ряды и цитируемые данные соответствуют открытым публичным источникам. Все совпадения с реальными людьми случайны.

Часть первая. Управляемый распад

Глава 1. Очередь

Рукопись Павла. Запись 1

Туман я заметил раньше, чем про него услышал.

Шёл утром на завод — в семь сорок, как всегда, мимо котельных труб — и увидел, что над второй трубой стоит столб белого. Не дым: дым серый, дым ложится. А это стояло, как столб, и не расходилось. Я постоял, посмотрел. Потом пошёл дальше, потому что в семь сорок не постоишь.

А к обеду уже все об этом говорили.

Говорили, что туман вырабатывают охладители секретных реакторов — тех, про которые в газетах ни слова, а в городе каждый второй знает, где они стоят. Другие говорили — просто смог, греется земля, ссыхается небо, осень. Дядя Коля из третьего подъезда, который всю жизнь на ТЭЦ, сказал: «Если б реактор — вы бы уже знали. Про реактор узнают быстрее, чем про зарплату». Его не слушали. Дядя Коля был единственный, кто говорил против легенды, и за это его

в очередях не любили.

Я не знал, кто прав. И, если честно, это было неважно. Важно было, что у нас теперь было про что говорить. Страна стояла в очередях за колбасой, и в этих очередях не о чем было говорить, кроме как про туман. Туман кормил нас разговором, как колбаса не кормила нас колбасой.

Потом я понял, что это и была работа тумана. Но об этом — после.

Файл третий. Пашка с прежнего завода, 1983

Файл третий. Записан со слов, речь сохранена. Это единственный человек в папке, который видел то, о чём спорят остальные. В рукописи Павла очередь спрашивает про машину. Дочь Марка спрашивает про неё же тридцать лет спустя. У этого человека был ответ. Его не спросили.

Меня звать Пашка. С прежнего завода — до перевода был слесарем, потом смазчиком при поливальных. Так что машину я знаю от колеса до бачка.

Поливальная машина — это бачок, валик сзади и шланг внутри. Она поливает дорогу, чтоб пыль не стояла. Я в них бензин сливал, я под ними лежал, когда течь искал. Если б в них было что-то ещё — я бы знал первым.

Теперь по порядку, как было.

Была очередь за сахаром. Я в ней стоял после смены, как

все. Рядом стоял мужик — на руке у него номер, писали химическим карандашом. Восемьсот сорок второй. Я спросил: зачем тебе номер на руке? Он говорит: чтоб завтра с ночи не занимать. Ну, дело понятное.

Над очередью в то утро стояла дымка. Обычная: ночь холодная, асфальт остыл, утро пошло тёплое — от земли пар. Как над мостовой после дождика.

Потом приехала машина. Поливальная, с бачком, с валиком сзади. Поливала дорогу вдоль очереди — медленно, как всегда. От неё дымка пошла гуще: вода холодная, а утро ещё не разгулялось.

Я сказал сразу: поливальная это, дорогу моет, чтоб пыли не было. Слышали меня человек пять. Мужик с номером не обернулся.

К обеду в очереди уже говорили: машина прошла дважды.

На следующий день: машин было две.

Через неделю: сыпать стали уже в сам реактор — сыпали с вертолётов, люди их видели; а сидели теперь в машинах, в респираторах.

Через месяц мне это рассказывали при мне — как бывшему очевидцу. Я говорил: я же стоял, дорогу поливали. Мне отвечали: слишком просто. А вертолёты тогда что делали? Мы их видели.

Потом машину искали. Нашли поливальную — ту самую: вмятина на бачке, мы её с напарником рихтовали весной. Но про вмятину рассказывать перестали — перешли на номер

машины. Номер у легенды выходил красивше.

Вот и всё. Больше я ничего не знаю.

Одно только скажу. Недавно рассказывал это соседу — и поймал себя: в моём рассказе у машины уже шланг сзади, медный, и прошла она три раза, а не один. Я видел её. Я под ней лежал. А всё равно медный шланг выходит красивше, чем вмятина на бачке.

Спросите очередь — очередь помнит лучше меня. Она всегда помнит лучше меня.

Рукопись Павла. Запись 2

Димку уволили в четверг.

Он работал со мной в транспортном цеху — узел за узлом, как все, — и был из тех, кто смеётся, когда не надо. В четверг ему принесли бумагу: сокращение. Бумагу принесли ему, а не Серёге из смены, хотя по выслуге Серёга был первым в списке. Все всё поняли, и все всё промолчали, потому что у всех были семьи и все всё понимали.

Димка встал.

Он не кричал. Он сделал шаг вперёд — и вот тут я увидел то, что потом буду видеть всю жизнь и не смогу объяснить ни одной женщине, ни одному ребёнку. Он шагнул вперёд — и сразу вбок. Вбок — это в сторону начальника цеха, в тёплое место, где стоят все, кто понял, что кричать поздно, а писать некуда. Он стоял там, среди них, и лицо у него было

как у человека, который забыл, зачем выходил.

Его не тронули. В этом и была вся система, хотя слова «система» тогда у меня ещё не было. Его не тронули именно потому, что он шагнул вбок. Шагнувшего вперёд — трогают. Шагнувшего вбок — вписывают в следующий список сокращённых, через один, вежливо.

Серёгу уволили в пятницу. Димку держали ещё месяц и уволили тоже, уже без объяснений. Никто ничего не понял, и это было самое точное объяснение из всех возможных.

Я в тот четверг стоял у станка. В руке у меня была начатая втулка — я держал её и смотрел, как стружка падает на бетон, и думал: вот сейчас я тоже шагну. И не шагнул. Не из страха — страх бы я ещё пережил. Я не шагнул, потому что понял: шаг вперёд ничего не меняет, а шаг вбок — меняет только меня. А оставаться на месте — единственное, что не стоит ничего. Так я и стоял. Так стояли все.

Скажу ещё — раз уж пишу всё, как было. Система не была таблицей умножения. На соседнем заводе человек шагнул вперёд — и его не тронули: потеряли бумагу, забыли. А другой молчал двадцать лет — и попал в первую же кампанию, потому что фамилия оказалась в нужном списке. В тот четверг нашему цеху выпал свой расклад. Я посмотрел на него и решил, что увидел закон. Ошибка эта прожила во мне долго.

Рукопись Павла. Запись 3

Трофимыч пришёл из зоны в восемьдесят седьмом.

Сначала был весь в бляшках, в значках, в вымпелах — человек-витрина. Потом значки пропали, и остался человек, который ходит в поликлинику. Ходил он туда тридцать лет подряд, и каждый раз ему делали одно и то же: мерили давление, смотрели карту и говорили — здоров.

Карта у него была чистая. Совсем чистая, как у новорождённого. Он один раз показал мне: ни строчки. Ни лучевой болезни, ни ожогов, ни того, что у него в тридцать восемь выпали зубы. В карте было написано: вегетососудистая дистония. Он говорит: «Трофимыч, а где лучевая?» А ему: «А у вас её нет. Смотрите — в карте нет».

Он не кричал. Он говорил об этом спокойно, как о погоде, и от этого спокойствия становилось страшно. Раза два прорывало и в него: однажды в поликлинике он порвал карту прямо у окошка, надвое. А через неделю пришёл за новой — её выписали заново, чистую, как первая. Он стоял и смотрел, как ему выдают пустоту, — и взял. Однажды он сказал мне фразу, которую я потом много лет думал, что понял, а понял только сейчас: «Они у меня не здоровье отняли. Они бумажку отняли. Здоровье — оно моё, я с ним и умру. А бумажка была — что это не зря».

В том же цеху, где я стоял у станка, каждое утро, до сме-

ны, мыла полы Люба Андреевна. Не там, где давали ей план, а везде — вдоль конвейера, под окнами, в красном уголке. Ей говорили: хватит, норматив, иди домой. Она мыла. И при этом напевала под нос, безо всякого слуха, какие-то старые песни — так, что цех с утра звучал как будний день. Однажды я спросил — зачем моет. Она ответила просто: «Пока я мою — моего сына не заберут». У сына её не было ничего, за что его могли забрать. Но она мыла.

Один раз схема не сошлась. Люба простыла с температурой — три дня коридор стоял немытый, и в эти три дня с её сыном ничего не случилось. Она потом вернулась и мыла уже вдвое, будто догоняла. А Трофимыч однажды сказал мне про пенсию: «вот тогда и отдохну», — и не заметил, что говорит о будущем, которого, по его собственному счёту, ему оставлять не полагалось.

Двоих таких — Трофимыча, у которого отняли бумажку, и Любу Андреевну, которая мыла полы от беды, — я потом вспоминал, когда все вокруг заговорили про Фонд. Двое стояли в одном коридоре. У одного вера умерла и осталась дыра. У другой вера была жива и работала, как лопата. Обе — вера. И обе — от одного и того же.

Файл четвёртый. Женщина, моющая полы

Файл четвёртый. Записан со слов Любови Андреевны и

мастерши цеха. Слова не совпадают в мелочах и совпадают в главном. Проверке не подлежит ничего — метод здесь бессилен, и я отмечаю это в рамке, чтобы рамка не теряла честности. Дальше — её голос.

Любу Андреевну в цехе не любили и не трогали. Приходила к семи, к восьми цех был вымыт, к девяти вымыт ещё раз. Со свежего пола она гнала всех: мастера, обходчика, начальника цеха. Говорили ей — она выслушивала и делала по-своему. Через год её перестали просить. По чистому не ходить — это всё, чего она требовала, и это стоило дешевле, чем её голос.

Сына забрали, когда ему исполнилось восемнадцать. Забрали — это её слово; «пошёл служить» она не говорила никогда. Письма шли с юга, раз в месяц; почта врала в сроках, и между двумя письмами лежало тридцать с чем-то дней.

Как начался счёт, она не рассказывала. Известно одно: письмо о том, что сын жив, пришло в день, когда она вымыла цех дважды. С тех пор она вымыла цех дважды.

Порядок был такой. Пол — от ворот к печи. Один проход — один день. В день два прохода: до смены и после. Пока письмо шло, счёт сходился. Если сходился — письмо придёт. Она не формулировала это как правило, потому что правило формулируют, чтобы спорить. Она просто не могла не вымыть.

В цехе решили, что она поёт. Поёт — значит, довольна. Она не пела. Она считала. Считать вслух молча нельзя —

сбиваешься; счёт держится на губах, как вода на тряпке. О сыне в это время она не думала. Считают про одно — не про другое.

В тот февраль она простыла — ходила мокрая по сквозняку, в цехе иначе нельзя. Три дня температура. Она не осталась дома: пришла и мыла, и напев стал хриплым, и в цехе решили — простыла, надо домой. А её напев стал меньше похож на песню и больше — на счёт. Ничего не случилось. В цехе это значило — повезло. В ней — что счёт не прерывался.

Она была вредная. Докладывала про тех, кто курил у входа: дым садится на свежий пол. Про тех, кто шёл в зимней обуви по мокрому. Написала в санчасть четыре жалобы и получила одну отписку. Пол был её — и воздух над полом тоже.

Письма она не прятала. Складывала в ящик с ветошью, к тряпкам: среди тряпок письмо было в порядке. Перечитывала запершись, в уборной, где никто не видит, и после этого шла мыть второй проход — потому что письмо, перечитанное до счёта, не считается.

Сын вернулся осенью. Живой. Она отмыла цех как всегда, до восьми, и пришла к его поезду. На перроне не заплакала. Дома спросила, как добрался, чем кормили, кто старшина. Утром пошла на смену.

Спросили её об этом один раз — уже на пенсии, когда цех моет соседка. Она пожала плечами:— Полы сами себя не вымоют.

Это правда. Полы сами себя не вымоют. Сын вернулся живым.

Рукопись Павла. Запись 4

Интуристов привозили в цех осенью. Двое, англичане, обходили нас с переводчиком, как обходят музей: не спеша, чуть наклонив головы. Я тогда стоял у пресса и решил, что они ничего не понимают. Потом переводчик перевёл мне, что один из них сказал про нас, указав рукой по всем сразу: «Дешёвая рабочая сила». А второй добавил: «И никаких профсоюзов».

Я стоял и ждал, что возмущусь. Не возмутился. Я стоял и думал: а он неправ?

Потом я услышал, как один сказал другому. Переводчик не стал переводить. Но два английских слова я узнал — они стояли на латунной табличке нашего пресса, который мы собирали без инструкции: wear coefficient. Самих слов я, конечно, не понял. Но табличку наизусть знал: коэффициент износа. Про нас. Про меня, стоявшего у пресса, и про Серёгу, которого уже не было.

И вот что я сделал, о чём до сих пор не рассказал никому. Я не ушёл, не хлопнул дверью, не сказал ни слова. Я просто подумал: а я себе какой коэффициент ставлю? И поставил себе в уме, в списке, который держал в голове, где я числился сам: работник третьего разряда, изношен на сорок процен-

тов, ремонт нецелесообразен. Я сам себя вписал в их список. Они этого не просили. Я сделал это сам — потому что так было честнее, чем ждать, пока впишут они.

Вот с этого, наверное, во мне и начался прожжённый. Не с того, что я потерял веру. А с того, что однажды решил посчитать себя точнее, чем они, — и согласился с их арифметикой.

Рукопись Павла. Запись 5

Виктор Сергеевич приходил в цех по четвергам.

Он не был начальником — он был тем, кто приходил. В руке — портфель, в портфеле — списки. Он не читал нам лекций и не ругал. Он ходил по цеху, здоровался за руку с каждым — и запоминал. Запоминал, кто как берёт.

Немецкий шоколад он доставал в конце обхода. Разворачивал, резал на квадратики, обходил всех. Я брал свой квадратик сразу, не глядя, — потому что не хотел казаться тем, кто считает чужой шоколад. Он кивнул и вписал меня в блокнот. Я потом узнал от Димки: тех, кто берёт сразу, — запоминают первыми. Берущих сразу — потом зовут куда-то наверх. Тех, кто берёт в последнюю очередь и из последних, — не зовут никуда, но и не трогают. С читающих мораль не берут.

Той же осенью, ближе к зиме, с проходной сняли вывеску. Не всю сразу — кусками. Сначала отвинтили букву, по-

том ещё две. Работал мужчина на автовышке, медленно, без спешки, как снимают обои. Под старой вывеской проступала ещё одна, ещё старее, — и на ней тоже было написано что-то о нас. Я долго стоял и смотрел, но прочитать не смог: буквы выцвели.

Виктор Сергеевич закрыл в тот день портфель и сказал — не всем, а как бы в воздух, но так, что услышали все: «Ну, вот. И вторая не удержится».

Это были все его слова за четыре года. Больше он ничего не сказал.

Рукопись Павла. Запись 6

Куры лежали на прилавке под красной лампой. Не под жёлтой — под красной. Я сначала не понял, зачем, а потом понял: в этом свете серая кожа смотрится розовой, а розовая — свежей. Лампа работала за продавца. Покупатель платил не за куру — за свет.

Куры были блестящие. Не от жира — от раствора. Таких вымачивают в марганцовке: она гниль моет и коже даёт цвет, как у только что выпотрошенной. Если перебрать — кура выходит бурая, тогда её ещё и сполоснут, чтобы не пугала. Это знал каждый, кто покупал третий год: тот, кто торгует с картонных коробок, не обязан ничего знать. Тот, кто покупает третий год, — знает всё.

Подходили к прилавку по кругу. Никто не брал с первого

ряда. Все тянулись к дальнему — туда, где тень, где лампа не дотягивалась. Это выглядело глупо: все под одной лампой, в одном зале. Но дальние лежали в ларе — а в ларе холодно, и холодный не пахнет. Пахнуть начинало дома.

Меня научили не глаза, а нос — и не сразу. Первую курицу я съел как все, жареной. Вторую — тоже, уже с оглядкой: в тот вечер что-то было не то, но я думал — лук. Третью я купил сам же: копчёную, на рынке у мужика с коробкой, дымом корицы пах. Ночью узнал, что дым этот — жидкий, из бутылки, а курица была той же, что под лампой. Дальше писать не буду: не про то.

После третьего я научился. Рефлексом, не знанием: теперь я этот запах ловлю из-за стены. Слабый такой, тонкий — не сама гниль, а след от её мытья. Как от ополаскивания. Назвать его не могу — а узнаю всегда.

Проверяю так. Зубочисткой — у самой кости: прокалываю и нюхаю. Гниение начинается изнутри, от кости, а марганцовка достаёт только кожу. Кожа может врать сколько угодно — кость не умеет. Продавцы это знают, поэтому дают понюхать только одно место: где мякоть на срезе и близко к свету. В другое место не дают, и не потому, что жадные. Потому что боятся: понюхаешь — уйдёшь.

В тот день я стоял перед прилавком долго. Кура лежала розовая, красивая, на коробке, как на подносе, — и смотрела в потолок, куда ей было положено смотреть. И я смотрел на неё. У нас с ней был разговор без слов, как в очереди: она

предлагала мне себя, я ей — не верил. В конце я купил. Не у неё — у бабки на рынке, у которой куры лежали на доске без лампы и были серые. Серые — это была правда. Я платил за правду больше, потому что розовое было дешевле. Так всегда и выходит: чем лучше выглядит, тем дороже оно потом обходится.

Рукопись Павла. Запись 6а

Кроссовки нужны были Трофимычу: старые развалились. Пошли на рынок вдвоём — я за стельками, он за парой.

Обувь лежала парами на картонке, подошва к подошве, открыто. Коробок не было. Трофимыч на это посмотрел с одобрением: обувь, которой нечего прятать, — редкость на рынке.

Продавец узнал его не по лицу — по пакету. В пакете лежала прошлая пара: подошва отошла от носка на шестой день. Не порвалась — отошла, как отходит то, что приклеено, а не пришито.

— Неделя прошла?

— Шесть дней.

— Я же честно пишу, — сказал продавец. — Неделя. Плюс-минус. Не нравится — берите дороже, там аж четырнадцать дней гарантия. И бумажка.

— Бумажка?

— Гарантия. В пакете лежит. Отдашь — поменяют.

Я постоял. Он не отводил глаз — первый человек на рынке, который не отводил. Проверять его слова было легко: держатся неделю — так и написано: неделя. Лжи не было. Была цена честности: неделя — дёшево, четырнадцать дней — дорого. Он не продавал обувь. Он продавал срок, и срок был подлинный, потому что был короткий.

Взяли по неделе. Продавец полез под прилавок: «Могу на четырнадцать — с гарантией. Вам двоим — бумажку. Даром».

— Не надо, — сказал Трофимыч.

— Даром же.

— Знаю. Даром бумажки не бывают, — сказал он спокойно, как о погоде. — Обещанное отнимают в первую очередь. Мне одну уже отнимали. Дорогая была.

— Почему? — спросил продавец. Первый раз за жизнь он спросил у покупателя «почему».

— Потому что неделя — это срок, который я проживу, — сказал Трофимыч. — А четырнадцать дней — это срок, за который бумажку успеют отнять.

Продавец посмотрел на него, как смотрят на человека, который знает про бумажки больше продавца. Отсчитал сдачу и доложил пару стелек — своих, от дорогих.

— За счёт себя, — сказал он. — Ничего, честно пишу.

Дома я посчитал: за четырнадцать дней кроссовки с гарантией стоят вдвое дороже и живут вдвое дольше. Цена за день — та же. Гарантия не покупала время. Гарантия поку-

пала бумажку. А Трофимыч знал про бумажки то, чего не знал продавец: бумажку, которую дают, отнимают. Гарантия обещала ровно то, чего у него уже не было, — что его не отнимут.

Я вспомнил куры под лампой. Там врал свет, а кура была правдой. Здесь наоборот: неделя — серая правда, как кура у бабки на доске, без лампы. Четырнадцать дней с бумажкой — розовое: красиво, дёшево и до первого отъёма. Чем лучше выглядит — тем дороже оно потом обходится. Я в тот день ещё не знал, что на заводе она называется иначе. Потом узнал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.